

Глеб Иванович Успенский

# Бо́льная совесть



Новые времена, новые заботы

Глеб Успенский

**Больная совесть**

«Public Domain»

1873

## **Успенский Г. И.**

Большая совесть / Г. И. Успенский — «Public Domain»,  
1873 — (Новые времена, новые заботы)

В очерке отразились впечатления, вызванные первой поездкой Успенского за границу в 1872 году. Успенский поехал за границу как корреспондент «Отечественных записок», для которых он собирался написать в результате поездки серию «Парижских записок». &lt;...&gt; В очерке отчетливо проявился реализм Успенского. Писатель сумел понять противоречивость капиталистического развития и в то же время остаться свободным от идеализации патриархальных пережитков, от свойственного народникам отрицания исторической прогрессивности капитализма по сравнению с крепостничеством.

# Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

# Глеб Иванович Успенский

## Большая совесть

### I

«Не советую вам встречаться за границей с русскими»... Когда я ехал прошлый год за границу, эту назидательную фразу мне пришлось слышать от многих соотечественников, уж бывавших там и, стало быть, имевших понятие о европейской жизни. Все причины, которые приводили мне в объяснение необходимости быть в стороне от соотечественников, решительно, по моему мнению, ничего не значили; говорили: «неприятно», «скучно», «да вот увидите сами...», словом, ни одной основательной причины на мой взгляд не было, и я уехал, совершенно забыв эти советы. И что же? Впоследствии, когда я поглядел на чужие нравы, и невольно должен был вспомнить этот совет, ибо я на самом себе испытал какую-то душевную боль, что-то саднящее, какую-то наваливающуюся на душу массу – боли, желчи, тоски... всякий раз, когда только «видел» русского, даже не разговаривая с ним ни слова, и уверен, что и моя особа, тоже русская, производила на другого соотечественника то же самое ощущение...

Определить это ощущение каким-нибудь одним веским словом решительно невозможно; оно приобретает тогда только, когда длинный ряд чужеземных картин, даже самых непривлекательных, сделает с вами великое чудо: именно заставит вас выздороветь, если вы были больны; заставит вас успокоиться, если вы были обеспокоены, – словом, когда чужая сторона сделает на душе у вас хорошо... Теперь, сидя в глуши и опять заболевая понемногу какую-то мнимую болезнью, я с особенным удовольствием припоминаю этот процесс, по которому на душе становится хорошо.

Ни длина и дешевизна немецких бутербродов, ни чистота немецкой прислуги, ни роскошь и дешевизна извозчиков, у которых все по таксе (какая прелесть!), человеческое достоинство которых делает то, что они едут потише, когда их просят ехать пошибче, ни газовые рожки, ни вообще какие бы то ни было таксы, цены, и проч., и проч., – ничто подобное не будет предметом нижеследующих заметок: ни одною из этих прелестей я не посмею пленять читателя. Да не только не посмею пленять именно вещами подобного сорта, а просто нахожусь в полной невозможности пленять его хоть чем-нибудь, если только он хоть мало-мальски заинтересован в современных порядках и хочет, чтобы они хоть чуть-чуть были поновей. С этой точки зрения я по совести могу сказать, что там *все хуже* нашего, ибо там всему делу корень; с этой точки зрения я даже и говорить не могу ни о чем, кроме самых-самых неприятных вещей, но в конце концов – как бы ни было дурно то, что попадаете вам на глаза, – на душе будет хорошо...

В самом деле, только переехали вы границу, только было стали облизываться от дешевизны бутербродов, – хватать, стоит Берлин, с такой солдатчиной, о которой у нас не имеют «понятия» и которая заставляет вас сразу терять аппетит ко всем этим прелестным газовым рожкам, мостовым, «по таксе» и т. д. Палаши, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя, попадают на каждом шагу, поминутно; тут отдают честь, здесь сменяют караул, там что-то выделывают ружьем, словно в помешательстве, а потом с гордым видом идут куда-то... В окне магазина – победитель в разных видах: пропарывает живот французу и потом, возвратившись на родину, обнимает свое семейство; бакенбарды у героев расчесаны совсем не в ту сторону, куда бы им следовало... У иных одно лицо сделано величиною в аршин (из мрамора, из металла), причем усы, как бычачьи рога, стремятся вас запороть, положить на месте. Насмотревшись на это, пойдите укрыться в портерную, но и там то же: сабли и палаши ездят по ногам, повсюду шевелятся усы,

одни другим отдают честь, и все вместе вновь пришедшему... Но существеннейшая вещь – это полное *убеждение* в своем деле, в том, что бычачьи рога вместо усов есть красота почище красоты прекрасной Елены. Спросите любого из этих усов о его враге и полюбуйтесь, какой в нем сидит образцовый сознательный зверь. Проглотивши такую заграничную картину, невольно думаешь: «нет, уж этого у нас нет!» И в темноте вагона припоминается наш солдатик Кудиныч, который, прослужив двадцать пять лет богу и государю, теперь доживает век в караулке на огороде, пугая воробьев... Он тоже весь изранен, избит, много дрался и имел врагов из разных наций, а поговорите-ка с ним, враг ли он им.

– А поляки? Как?

– Поляки тоже народ ничего, народ чистый...

– Добрый?

– Поляки народ, надо сказать, народ добрый, хороший... Она, полька, ни за что тебя, например, не допустит в сапогах... например, заснуть ежели...

– Не допустит?

– Ни боже мой!.. ходи чисто! благородно!

– А черкесы? Ты дрался с черкесами?

– Эва! Мы черкеса перебили сметы нет! Довольно нам черкес известен; лучше этого народу, надо так сказать прямо, не сыщешь.

Все его враги – добрые люди, неизвестно зачем бунтуют... Всех он усмирил, и вот теперь сидит в караулке, тачает что-то, разговаривает с собачонкой и, вспоминая прошлое, говорит: «ох, грехи-грехи тяжкие!» Какое же сравнение: здесь доброта, – там свинство и зло.

Нет, у нас лучше.

Благодаря превосходно устроенным путям сообщения, не успели вы еще простыть от милительного воспоминания о Кудиныче, как чужая земля предьявляет вам новый сюжет для размышления. Поезд остановился на какой-то маленькой станции – кажется, в Бельгии: немецкие деревеньки с зеленью и беленькими домиками, выглядывающими из нее, давно прекратились; давно уже пошли каменные глыбы с боков дороги, горы (буквально) золы, облака дыму, тысячи труб, изрыгающих дым и пламя, и исчезли всякие следы деревни; видны только фабрики и казармы для рабочих, узенькие, низкие одноэтажные здания, с крошечными окнами, маленькими дверцами, обвешанные всякою рванью, просушивающеюся на солнце; людей стало почти не видно, они все где-то под землею, в огне и дыме... Изредка у дороги увидишь женщину-сторожа – она босиком, в рубище, изможденная и худая. Это, точно, Бельгия. Поезд останавливается ночью. Повсюду зарево пылающих горнов; вот вдали на какой-то широкой трубе, из которой вылетает белое пламя, толчется какой-то человек: черная скорченная фигурка его то подскочит к огню с каким-то шестом, то отскочит назад, очевидно от нестерпимого жару, и потом опять лезет туда... Слева, немного ниже насыпи железной дороги, расположилась фабрика, под прорванной и прогорелой железной крышей, держащейся на столбах; в огне и дыме, в тучах разлетающихся искр копошится масса рабочего народа, худого, оборванного, измученного; сколько тут детей, совершенно голых, без рубах... вот один тщедушный мальчик, без рубашки, босиком, нагнувшись головой чуть не до земли и ухватившись руками через плечо за конец длинной железной полосы, раскаленной почти до половины, тащит ее с видимым трудом, раздувая свои голые бока с отчетливо обозначившимися ребрами. Да, тут работают в поте лица, тут виден страх смерти, если только руки выпустят этот молот... Представляя себе хозяина этого ада кромешного, вы никак не сочтете его другом всех этих голых людей, – да, вы убеждаетесь, что выколотить из этого «хозяина» прибавку в копейку серебром можно только кровью, дракой, невыносимым взрывом ненависти... У нас нет ни такого дыму, ни такого огня, ни такой злобы рабочего и хозяина (говорят, будет), ни этой злости в работе... Хозяйский приказчик Куприянов, правда, ходит между рабочими и покрикивает: «поспевай, ребята, поспевай»; но потом присядет на обрубок дерева и скажет: «И история тоже, ребята, вчерашнего

числа вышла со мной... Тут смеху было, боже мой... Иду это я... Федот! ты что это чешешься-то?.. Надо бы, купидончик, поспевать... Иду это я вчерась от кумы...» – и пошла история, от которой, глядишь, идет смех по всей фабрике... Под историю и «поспевать» легче. «Уж и плут только этот Куприянов, братцы, – разговаривают фабричные, – ну, иначе, человек, надо говорить прямо, – человек ничего...» Нет, у нас лучше!

Мы в Париже. Тут уж я не знаю, каким орудием таскать массы всяческого безобразия... но чтоб уж до конца в этих сопоставлениях мое отечество являлось в лучшем против *них* виде, приведу суды. У нас суд скорый и правый, а там идет какой-то скорый и быстрый разбой, но не суд. Я говорю о версальском военном суде. Нижний этаж неряшливых солдатских казарм в Версали кое-как, на скорую руку, перегорожен досками на маленькие клетушки, совершенно такого же изящества, как деревянные, на два дня устраиваемые по случаю сельской ярмарки, «выставки водок», – и в каждой этакой клетушке заседает военный суд и печет приговоры десятками в минуту. Из-за этих перегородок (которые далеко не достигают до потолка) раздаются резкие, скорые, очевидно для проформы задаваемые вопросы, робкие ответы, преимущественно «нет», на которое не обращается никакого внимания... Посмотрите на эти лица, заседающие за красным столом, под запыленным маленьким распятием из кости над их головами, – эта такая коллекция удавов, какой, пожалуй, и в Берлине скоро не подберешь. Стоит взглянуть на этих судей, чтобы понять, что подсудимый – тщедушный мастеровой, совершенно напоминающий нашего отечественного портного, работающего «перешивку на дому», – что этот испуганный человечек с трясущимися пальцами рук, протянутых по швам (я такого именно и видел), что он вовсе даже и не подсудимый, а прямо «попался» в волчью яму. В две-три минуты допросили десять свидетелей, которые все показали, что он вполне невинен, что он не мог не держать в руках ружья, когда ему его навязывали под страхом смерти... Словом, дело такого рода, что у нас бы непременно его оправдали, и денег еще собрали бы. А тут – нет: прокурор, стуча кулаком, прямо объявляет, что ош знать не хочет ничего, кроме того, что подсудимый взят с оружием. Повернув, по французскому уменью говорить, эту фразу на разные лады раз двадцать, он умолкает в большом негодовании; за прокурором встает защитник, очень изящный молодой человек в военной форме. «Ну, – думаете вы, – вот тема-то разойтись...» Ничуть не бывало. Защитник с крайним сожалением объявляет, что вина преступника так несомненна, что ему остается только просить о снисхождении: он знает, что есть милосердие; – и затем совершенно спокойно садится без малейшего стыда и жалости. Не виноватый ни в чем человек был приговорен к пяти годам работ в крепостях, – Семейство разорено, и вся жизнь целого семейства пошла к чорту... Несомненно, что у нас в России никто ничего подобного не видал.

Но довольно примеров. Один мой соотечественник из простонародных, попросту русский мещанин, волею божией попавший в Париж и проживающий здесь около пятидесяти лет, – соотечественник, о котором будет сказано обстоятельно ниже, – говорил мне за верное, что здесь во Франции, особливо в Париже, «все порядки приведены в большую огромность». В доказательство того, что это правда, он весьма оригинально указал мне на статуи великих людей, расставленные по площадям европейских городов и Парижа в особенности... «Это отечество, – говорит он, – становится тому, кто ему делал добро, устанавливал порядки... Почему у них у всякого в руках либо палка, либо сабля, либо дубина? Потому, «не бить – добра не быть», бабушка говорила... У иного просто бумага в руках, а тоже ровно треснуть хочет... А потому – на пользу; от этого-то здесь и чистота... Одному только Нэю<sup>1</sup> на Сан-Мишель поставили монумент за измену...» При таком прочном насаждении порядков можно бы было здесь представить читателю великое множество таких цветов этих порядков, которых у нас не только нет, но дай бог, чтобы и не было их; но теперь покуда довольно будет рассказать окончание

---

<sup>1</sup> Нэй – Ней Мишель (1769–1815) – наполеоновский маршал, изменивший Наполеону I, а затем во время «Ста дней» снова перешедший на его сторону. Памятник Нею был поставлен Наполеоном III.

последнего примера с судом, чтобы можно было видеть, отчего даже такие мерзости, как этот суд и другие, мною вышеуказанные, поучительны и чем именно они не мерзки...

Окончание истории с судом было таково: после того как по обыкновению именем французского народа был произнесен приговор (подсудимого в это время нет в зале суда), публика, находившаяся в камере, вышла на двор, заставленный пустыми пушечными станками, и обступила растерянную жену несчастного. Публики этой было очень немного: два-три свидетеля, в том числе две женщины, семинарист-иезуит с толстомясым лицом и флегматически сложенными назади руками да два-три иностранца. Женщины ахали, советовали что-то, жена подсудимого плакала, прочие стояли и смотрели. В это время по случаю перерыва заседания прокурор и защитник да, кажется, кто-то и из судей неправедных вышли на крыльцо курить и болтать... Зная наши отечественные добрые нравы, я подумал: «А вот сейчас эти прокуроры и судьи подойдут к несчастной и станут соболезновать ее горю... ну, хоть из приличия...» Мне потому пришло в голову, что у меня есть множество приятелей прокуроров, которые именно так поступают; эти мои приятели, они вовсе, например, не злы на мужика, который вырубил дерево и которого нужно засадить в острог; *в сущности* они душевно жалеют этого мужика, они научились любить народ, и если иной раз упекут в Сибирь, то это по обязанности, а *сами лично* они даже жалеют, дают деньги... Один из моих приятелей был даже так огорчен каким-то делом в этом роде, что мало того, что дал упеченному денег, а даже... подал прошение о переводе в другой город... Когда мне все это пришло в голову, я того и ждал, что эти звери теперь, когда заседание прервано, вдруг сделаются не-зверьями (как мои приятели) и покажут нам свои лучшие светлые стороны... «Вот сейчас», – думал я. Но они стояли и курили, заложив руки в карманы своих красных панталон. «Да что же это такое? – стало приходить мне в голову. – Неужели они даже и в перерывах заседания остаются такими же зверьями?..» Мне показалось, что на нашу группу они смотрят не с сожалением, а с каким-то веселым сарказмом в глазах... «Да неужели же они считают себя правыми?» – думал я в недоумении. И, чтобы удостовериться, сделал даже некоторое неприличие – попросил у одного из них закурить (хотя простонародный соотечественник и внушил уже мне, что французские порядки требуют, чтобы спички держать свои). Мне хотелось послушать, что такое они болтают; я нарочно возился с сигарой, склеивая ее, перевертывал другим концом, чтобы протянуть время. И что же? Один из них ругательски ругал коммунаров, а другой предложил на будущее время просто «сбривать им головы с плеч», и, сколько я мог заметить, сказал это с подлинною ненавистью... Тогда я убедился, что они действительно злы и делают так, а не иначе, именно потому, что злы.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.